

дам, он указывает на то, что сингапурцы создали новую «глобальную нацию» [Kotkin 1992] и напоминает им, где находится их истинный дом. Но в современном мобильном мире государство также должно осознавать, что эти сингапурцы могут никогда не вернуться домой. Поэтому государству необходимо стать привлекательным и для других, что выражается в привлечении иностранных специалистов и, возможно, новых жителей. Целью глобального дискурса, таким образом, является представление Сингапура как места, где будут рады не только сингапурцам, но и представителям других национальностей. Отсюда следует, что переход от национального государства к глобальному городу необходим для достижения этой цели. Данный переход неизбежно ведет к изменению в модуляции. Последнее включает маркеры глобального дискурса, которые мы рассмотрели в данной статье: ослабевание противопоставления «своих» и «чужих», отказ от авторитарности в управлении, создание условий для работы, отдыха и проживания, а также соответствие современным мировым тенденциям в развитии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Appadurai A. Grassroots globalization and the research imagination // Globalization/ ed. by A. Appadurai. – Durham, North Carolina: Duke University Press, 2001. P. 1-21.

Beck U. The risk society: Towards a new modernity. – London: Sage, 1992.

Benjamin G. ‘The cultural logic of Singapore’s “multiracialism”’// Singapore: Society in transition/ ed. by R. Hassan – Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1976. P. 115-33.

Berking H. ‘Ethnicity is everywhere’: On globalization and the transformation of cultural identity// Global forces and local life-worlds / ed. by U. Schuerkens. – London: Sage, 2004. P. 51-66.

Blommaert J. Discourse. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Bucholtz M., Hall K. Language and identity // The Blackwell companion to linguistic anthropology / ed. by A. Duranti. – Oxford: Blackwell, 2004. P. 369-94.

Cohen R. Global diasporas. – London: UCL Press, 1997.

Flowerdew J. Globalization discourse: A view from the East // Discourse and Society. 2002. Vol. 13. P. 209-25.

Florida R. Cities and the creative class. – New York: Routledge, 2005.

Giddens A. The consequences of modernity. – Cambridge: Polity, 1990.

Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. – Cambridge: Polity, 1991.

Giddens A. Runaway world: How globalization is reshaping our lives. 2nd edition. – London: Profile Books, 2002.

Kennedy P. Introduction: Globalization and the crisis of identities? // Globalization and national identities: Crisis or opportunity? / ed. by P. Kennedy, C. Danks. – New York: Palgrave, 2001. P. 1-28.

Kotkin J. Tribes: How race, religion and identity determine success in the new global economy. – New York: Random House, 1992.

Lash S., Urry J. Economies of signs and space. – London: Sage, 1994.

Mir A., Mathew B., Mir R. The codes of migration: contours of the global software labor market// Cultural Dynamics. 2000. Vol. 12. P. 5-33.

Pennycook A. Global Englishes, Rip Slyme and performativity// Journal of Sociolinguistics. 2003. Vol. 7. P. 513-33.

Perrons D. Globalization and social change: People and places in a divided world. – London: Routledge, 2004.

Rappa A., Wee L. Language policy and modernity in Southeast Asia: Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand. – New

York: Springer, 2006.

Robertson, R. Globalization: Social theory and global culture. – London: Sage, 1992.

Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo. 2nd edition. – Princeton: Princeton University Press, 2001.

Tan E. S. Globalization, nation-building and emigration: The Singapore case // Asian Migrations/ ed. By B. P. Lorentz, N. Piper, H-H. Shen, B. Yeoh. – Singapore: Asia Research Institute; Singapore University Press, 2005. P. 87-98.

Yeoh B., Willis K. Singapore Unlimited: Configuring social identity in the regionalization process. – Paper presented at University of Nottingham Department of Geography Seminar Series, 1997.

Wade R. Is globalization making world income distribution more equal? – London School of Economics DESTIN Working Paper 01-01, 2001.

Wallerstein I. The national and the universal: Can there be such a thing as world culture? // Culture, globalization and the world-system / ed. By A. D. King. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. P. 91-106.

Wee L., Bokhorst-Heng W. Language policy and nationalist ideology: Statal narratives in Singapore// Multilingua. 2005. Vol 24. P. 159-83.

© Lionel Wee, 2007

© Зырянова И.П. (перевод), 2007

Костылев Ю. С.

Екатеринбург, Россия

ОБРАЗ ЯПОНЦА

В СОВЕТСКОЙ МАССОВОЙ ПЕЧАТИ

Abstract

The author describes how the image of an enemy (a Japanese) was presented in Soviet mass press in the times of Soviet Russia & Japan conflict. While analyzing the means used in creating this image attention was given to specific features and characteristics that became part of Russia and Japan descriptions in 1918–1945. This approach lets to trace the development of Japanese image in this period of time.

В корпусе текстов, созданных в период существования советского государства, существуют такие, авторство и очевидная целеустановка которых позволяет определить функцию использования этностереотипа в ключе влияния на политические взгляды адресата. Такими текстами можно считать тексты массовой печати российского (советского) государства в разные периоды его существования. Создание и использование образа врага (японца) в этих текстах и стало предметом исследования данной работы.

Рассматривались исторические документы, относящиеся к периодам вооруженного противостояния советского государства с Японией в три исторических периода: 1) период гражданской войны и иностранной военной интервенции в России, 2) эпоха малых войн и локальных военных конфликтов конца 1930-х – нач. 1940-х гг., 3) период военных действий конца Второй Мировой войны. Выбор этих эпизодов объясняется тем, что именно во время вооруженных столкновений наиболее ярко выражается позиция военных и политических властей по отношению к представителям государства-противника. Очевидно, что до того, как некоторое государство не приобрело статус противника, и взаимодействие с ним не стало занимать достаточно большого места в общественно-политической жизни страны, наличие «официального» языко-

вого стереотипа, вырабатываемого фактически искусственно, не требуется, не оправдывается pragmatически и потому создание этого образа не происходит настолько целенаправленно и активно, как в период войны. Говоря о сущности стереотипа, Е. Бартминский, напр., пишет: «Подчеркнем, что понятия изначально отвечают требованиям научного мышления, поддаются верификации на основании опыта, стереотипы, наоборот, включаются в опыт, являясь в достаточно большой степени независимыми от него; что в понятиях доминирует интеллектуальный компонент, в стереотипах – эмоциональный; что стереотипы устойчивы к изменениям, понятия же открыты изменениям, поддаются модификациям в соответствии с развитием знания; что, наконец, социальная функция понятия имеет познавательный характер, функция стереотипа – интегративный и охранный <...> нет смысла искать его в стилях, стремящихся к объективизму и интеллектуализации, прежде всего в научном и официально-деловом, которые предполагают собственно интеллектуальные, а не эмоциональные способы упорядочения мира» [2005: 160]. Очевидно, что именно в период войны восприятие представителя чужой страны становится предельно эмоциональным, и языковые формы его описания приобретают не познавательную, а собственно характеризующую функцию. Идея об ином – более эмоциональном и стереотипизированном – восприятии действительности во время войны поддерживается многими учеными – историками, психологами, социологами. Так, напр., психолог Лоуренс Лешан говорит о совершенно ином, чем в мирное время, – «мифическом» – типе сознания, преобладающем в условиях вооруженного противостояния и характеризующемся предельной стереотипизацией восприятия действительности: «Эти две реальности – «мифическая» и «сенсорная» отличаются по структуре, и эта разница непреклонно приводит к различиям в мыслях и поведении. «Мифическая» реальность характеризует общество во время войны, когда все понятия делятся на белое и черное, и нет промежуточных оттенков» [2004: 45]. Естественно, что стереотипы сознания должны проявляться в стереотипах языковых, причем языковые стереотипы военного времени будут наиболее полно соответствовать своему определению, поэтому стереотип, выработанный в условиях вооруженного противостояния искусственным, отчасти, образом, в пропагандистских целях, и представляет как таковой, на мой взгляд, наибольшую ценность и, с другой стороны, отражает функционирование стереотипа именно в политическом тексте достаточно наглядно.

В качестве источника материала использовались тексты массовой печати, т.е. тексты, предназначенные для достаточно широкого круга читателей и отражающие целевую установку авторов на идеологическое воздействие на адресата: 1) публикации центральных и фронтовых газет и журналов, газет отдельных видов

вооруженных сил, 2) тексты сборников Политуправления армии, 3) приказы по войскам, 4) тексты агитационных плакатов, листовок и т.п.; 5) опубликованные в печати речи руководителей государства и армии. В отдельных случаях в качестве материала для сравнения с основной массой исследуемых текстов приводятся тексты, созданные носителями военной и государственной власти, не предназначенные для публикации и широкого распространения. Рассматривались тексты, хронологически относящиеся не только к конкретному историческому эпизоду, по поводу которого эти тексты были созданы, но и более позднего времени, т.к. очевидно, что способы описания и характеристики противника оставались практически неизменными на протяжении всей советской эпохи.

Анализ средств создания образа произошелся путем рассмотрения того, какими специфическими чертами и характеристиками наделялись противники в описываемый исторический период. Эти элементы отражают достаточно полно образ врага в текстах описываемого периода и позволяют увидеть, как именно представляли себе противника авторы текстов и, следовательно, какой образ формируется в совокупности текстов эпохи.

1. Образ японца в текстах периода гражданской войны и иностранной военной интервенции. Первые столкновения советского государства с Японией произошли в апреле 1918 г. – во время интервенции стран Антанты на российский Дальний Восток. В 1922 г. японские войска покинули советские территории, а в июне 1923 г. в Пекине прошли переговоры по поводу нормализации советско-японских отношений. В период интервенции японцы заняли Приморье, но дальше на запад практически не продвинулись. В то же время на Дальнем Востоке действовали американские десанты, белые войска под началом Каппеля, Семенова и др., несколько западнее против Красной Армии воевал корпус барона Унгерна фон Штернберга, против войск РСФСР и ДВР сражались и более мелкие вооруженные формирования. Естественно, при таком обилии врагов (с учетом военных действий на других театрах) и сравнительно скромных успехов японцев, советская пропаганда, как и в случае с финнами, не могла уделять большое внимание именно японцам. Поэтому и здесь мы сталкиваемся с недостаточно полным освещением образа врага на этом фронте и довольно малым количеством материалов, характеризующих японцев. Но во все пройти мимо появления нового врага в Приморье советская пропаганда, конечно же, не могла, и мы все же можем увидеть, какими средствами пользовался советский идеологический аппарат для описания японца и Японии в этот период.

Источником материала стали публикации газеты «Известия» за 1920 г. и Большая советская энциклопедия [1935-1940].

Бросается в глаза некоторая неразработан-

ность образа японца в этот период – отказавшись от дореволюционной традиции характеристики японцев преимущественно по национально-антропологическому признаку (ср.: «Лезешь сдуру к Порт-Артуру, там, брат, желтую-то шкуру спустят моряки»; «Курносый дурачище» – с плакатов времен русско-японской войны), советская пропаганда вынуждена была обратиться к освоению классовой и политической сущности врага. Но, похоже, к тому времени арсенал подобных характеристик не был в должной степени разработан. Так что ведущей стала идея империалистической политики Японии, при этом, раскрывалась эта идея очень ограниченным рядом лексем: «Вожделения японских империалистов»; «Последние десятилетия для Дальнего Востока характеризуются непрерывным ростом японского империализма» («Известия» 5.09.20).

Лексема *империализм* и ее производные явно содержат в себе идею агрессии, нападения (ср. в Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова [1935-1940] (далее ТСУ): «Империализм 2. Захватническая внешняя политика»), эта же идея содержится и в словах *захватчик*, *завоеватель* и однокоренных с ними, также широко используемых при описании японцев в текстах: «Японской военщинае (В текстах, созданных непосредственно в период боевых действий лексема *военщина* не встречается. Очевидно, ко времени написания БСЭ-40 это слово уже закрепилось в языке в отношении врага, и авторы энциклопедии просто воспользовались приобретенным уже после 1920 г. опытом) *приходилось сокращать свои первоначальные захватнические планы*» (БСЭ-40). «*Но сейчас японским завоевателям не до этого*» («Известия» 11.02.20).

Практически только этими лексемами ограничиваются авторы при создании портрета врага, но, хотя и достаточно редко, в текстах встречаются и другие элементы образа японца. Так, мы можем встретить указания на стремления Японии к войне, но при этом, достаточно слабую подготовленность к ней: «Она [Япония] лихорадочно гонит все дальше и дальше свое вооружение» («Известия» 8.05.20). Лексема *лихорадочно* в данном случае указывает на то, что подготовка ведется сумбурно, непоследовательно, имея мало шансов на успешное воплощение, но при этом достаточно активно.

Как и при создании образа других врагов, подчеркивается мысль о наличии сил, противодействующих врагу хотя бы и пассивно, внутри самой Японии: «Японский солдат не хотел больше крови ради захватных планов своих капиталистов» («Известия» 9.03.20). Здесь мы видим, как *капиталистам*, представляющим собой сравнительно небольшую группу, противостоит обобщенный японский *солдат*. Единственное число, употребленное здесь, указывает на то, что японская армия представляет собой единое целое, причем настроенное враждебно по отношению к *капиталистам*. Взаимодействие Японии с другими врагами Советской России представлено довольно противоречиво. Здесь мы видим влияние двух взаимоисключающих целеустановок – 1) представить внешних врагов единой

силой, посягающей на молодое государство, борьба с которой потребует усилий от населения страны, 2) подчеркнуть противоречия внутри враждебного лагеря и указать на возможность победы над этим врагом: «Господину Учida были показаны тайные соглашения, которыми клика безответственных деятелей – генро – связала японский народ с европейско-американским капиталом» («Известия» 28.02.20); «Ясно, что двинуть против Советской России крупные силы японский империализм при всем своем желании не мог бы из-за соперничества американской буржуазии, ревниво следящей за успехами японского хищника» («Известия» 11.02.20). В первом тексте мы можем видеть еще несколько способов описания врага как малочисленного и не имеющего шансов на успех – именование противостоящей группы *кликой* показывает ее количественную ограниченность (ср. в ТСУ: Клика. Небольшая компания, сообщество людей, объединившихся для каких-н. неблаговидных действий.), при этом, *связывая народ*, она противостоит населению собственной страны. Называя генро *безответственными*, авторы подчеркивают определенный заранее провал их политики, вызванный недостаточной продуманностью их действий. Называние противника *хищником* в тексте от 11 февраля снова актуализирует идею его агрессивности, метафорически описывая его империалистическую сущность.

Итак, мы видим, что при создании образа японца в период иностранной военной интервенции для описания противника более или менее последовательно использовались всего лишь несколько лексем. При этом его образ складывается из нескольких элементов, в разной степени отраженных в печати: 1) ведущим (практически единственным) элементом образа становится описание противника стремящимся к агрессивной внешней политике; напрямую агрессором он не называется, но последовательно именуется империалистом, захватчиком и завоевателем; 2) действия противника до конца не продуманы, непоследовательны и обречены на провал, это выражается в лексемах типа *лихорадочно* и *безответственно* при описании его действий; 3) этот враг, как и остальные в этот период представлен противостоящим подавляющему большинству собственного народа, отдельная клика идет против воли всего населения Японии; 4) противоречиво описывается взаимодействие этого врага с другими, это вызвано стремлением представить враждебную коалицию сильной и слабой одновременно.

Образ японца в этот период разработан гораздо слабее, чем образы других врагов даже того же самого периода и состоит практически из одной черты. Это можно объяснить тем, что японцы были плохо знакомы адресату массовых текстов 1920-х гг. – очевидно, даже хуже, чем, напр., поляки и финны, и для создания их портрета пришлось обратиться к одной, наиболее общей, объединяющей всех врагов того периода характеристике – *империалист*, которая определяла внешнюю политику Японии до-

вольно близко к истине. Не было создано даже квазиэтнонима типа *белофинн*, *белополяк*, *белочех*, известных нам по другим театрам военных действий. Это можно объяснить, во-первых, тем, что для деления японцев по их политическим убеждениям было меньше, чем в случае с другими врагами, оснований в действительности (во всяком случае, широкий читатель, кажется, ничего не знал о красном движении в Японии).

2. Образ японца в текстах периода локальных конфликтов конца 1930-х гг. Конец 1930-х гг. также ознаменовался многочисленными столкновениями советского государства с Японией. Вызвано это было тем, что Япония в это время вела крайне активную политику на континенте. Так, уже в сентябре 1931 г. японские войска были введены на китайскую территорию и к началу 1932 г. заняли территорию Маньчжурии, выйдя непосредственно к советско-китайской границе. 9 марта 1932 г. было провозглашено образование государства Маньчжоу-Го, опиравшегося на японские вооруженные силы. После этого уже с 1935 г. начались многочисленные приграничные столкновения на границах Маньчжурии с Советским Союзом и Монгольской Народной республикой, с которой СССР был связан договором о взаимопомощи. Во многом причина этих конфликтов заключалась в том, что линии границ на Дальнем Востоке зачастую были определены недостаточно четко и у противоборствующих сторон были разные взгляды на принадлежность территорий, прилегающих к некоторым участкам границы. Эти взгляды подкреплялись различными документами, подтверждающими правоту обеих сторон, естественно, в таких условиях требовались некоторые усилия пропаганды для обоснования претензий на оспариваемые земли. В частности этой причиной можно объяснить резко возросшую активность советской военной пропаганды при создании образа этих конфликтов и врагов, противостоящих Красной Армии. К тому же, именно с боевых действий против японцев началась цепь локальных конфликтов с участием Советского Союза в конце 1930-х гг. Происходили эти события в некотором смысле изолированно от других военных конфликтов: до сентября 1939 г. СССР не вступал в открытое вооруженное противостояние с другими государствами, и пропагандистскому аппарату представилась возможность достаточно полно осветить боевые действия в этом регионе.

Наиболее известными и значительными в ряду приграничных столкновений с Японией стали конфликты у озера Хасан в Приморье (1938 г.) и у реки Халхин-Гол (1939 г.) на монгольско-маньчжурской границе. Тексты, относящиеся к одному из этих конфликтов – у озера Хасан и стал объектом исследования в данной главе. Следует заметить, что тексты, относящиеся к столкновениям с японцами во второй половине 1930-х гг., создающие образ врага в этот исторический период, дают совершенно

одинаковый результат в сфере конструкции такого образа, но бои у Хасана освещались особенно подробно и активно, поскольку здесь имел место конфликт с участием достаточно больших неприятельских сил, причем непосредственно на территории СССР.

В агитационно-пропагандистском плане эти столкновения были обеспечены достаточно хорошо, освещались в центральной печати, по их следам Политуправлением армии создавались сборники о партийно-политической работе в этот период.

В качестве источника материала были использованы публикации газеты «Правда» за август 1938 г. и текст сборника «Бои у Хасана. Партийно-политическая работа в боевой обстановке» [1939] (далее – «Бои у Хасана»).

Наиболее частотной лексемой, характеризующей японца в этот период, становится лексема *самурай* и ее производные: «Проучить самураев. Не быть грязной самурайской ноге на священной советской земле» («Бои у Хасана»); «Пусть знают гнусные японские самураи...» («Правда» 4.08.38). При использовании этой лексемы актуализируются национальная и социальная составляющие образа врага. Самурай – представитель привилегированной части общества (ср. в ТСУ: Самурай. Член привилегированной военной касты Японии (истор.). Здесь мы видим попытку использования средств, создающих образ одновременно классового и национального врага, подобно использованию, напр., лексем пан, шляхта и т.п. по отношению к полякам. Следует заметить, что использование лексемы *самурай* является более удачным с пропагандистской точки зрения, поскольку она актуализирует не только указанные элементы образа, но и подчеркивает – через принадлежность его к «военной касте» – его природную агрессивность и опасность. Этим можно объяснить высокую частотность этой лексемы в текстах: в текстах встретилось 93 случая употребления слова *самурай*, это ведущий способ характеристики японцев

При этом, кажется, в текстах классовая принадлежность самурая отходит на задний план, во всяком случае, образ японца не раздваивается по социальному признаку, как мы видели это ранее в образах поляка и финна. Так что, учитывая и классовую составляющую образа японца, названного *самураем*, следует признать, что ведущими здесь являются элементы, отражающие национальную принадлежность и агрессивную сущность противника. При этом интересным кажется то, что такое – связывающее ее с событиями у Хасана – значение лексемы *самурай* указывается в ТСУ (Самурай // преимущ. мн. Название, данное советским народом японской военщины, осуществляющей политику империалистических захватов (нов. презр.). Видно, что такая подача толкования слова отделяет его от *самурая* в основном значении, что можно объяснить ощущением некоторой искусственности этого дополнительного значения, сознательного его

конструирования (при том, напр., что у лексемы *лан* в ТСУ нет подобного дополнительного толкования).

Вообще же в текстах всячески подчеркивается агрессивность противника. Наиболее частотной лексемой (26 случаев словоупотребления), характеризующей врага именно в этом аспекте является лексема *военщина* (в составе конструкции *японская военщина*): «*Японская военщина* усиленно подтягивала свои войска» («Бои у Хасана»); «*Но японская военщина* забыла, по-видимому, что Советский Союз – не Маньчжурия, не Австрия» («Правда» 12.08.38). Эта лексема, как мы видели выше, становится чрезвычайно популярной в эпоху локальных конфликтов конца 1930-х гг., но, учитывая то, что столкновения с японцами произошли раньше, чем с финнами и поляками, можно предположить, что именно во время пограничных конфликтов с участием японцев и было опробовано такое средство характеристики врага.

Эта же идея реализуется в лексемах *провокатор*, *провокация* и их производных, характеризующих действия врага. Подобные обозначения показывают врага агрессивным и бесчестным, пытающимся вызвать своего противника на нежелательные для него действия. При этом часто встречаются конструкции *провокаторы войны*, *провокация войны*, являющимися переработками авторитетного прецедентного текста: «Это не война, а только провокация войны» – из речи К.Е. Ворошилова по поводу боев у Хасана. Использование таких конструкций характеризует врага еще и как достаточно слабого, неспособного на масштабные военные действия, но движимого своей агрессивной природой: «Мы малой кровью победили японских *провокаторов войны*»; «Советский народ, партия и правительство поручили им дать отпор японским *провокаторам*» («Бои у Хасана»); «Мы возмущены новой *провокацией японо-маньчжурской военщины*» («Правда» 4.08.38).

Используются лексемы *захватчик*, *империалист*, *агрессор* и однокоренные с ними для характеристики японцев и их действий, что снова актуализирует идею агрессивности и опасности врага: «Проучить японских *захватчиков*, выгнать их с советской земли было поручено эскадрону, комиссаром в котором был Пожарский» («Бои на Хасане»); «Мы одобляем мудрую политику Советского Союза, направленную на организацию решительного отпора фашистским *агрессорам*» («Правда» 4.08.38). При этом лексема *захватчик* употребляется гораздо чаще, чем *империалист* и *агрессор*, что можно объяснить большей прозрачностью внутренней формы этого слова, а значит, большей эмоциональностью, с которой оно будет воспринято.

Идею неправомерности притязаний японцев, их слабую подготовленность наряду с большими амбициями, неспособность рассчитать свои силы выражают определения *наглый* и *зарвавшийся* и однокоренные с ними, характеризующие врага и его действия: «Партийные и беспартийные большевики, борясь плечом к плечу, победили трудности и вышвырнули *обнаглевших*

самураев с нашей родной земли»; «Скоро придется встретиться с врагом и по-настоящему рассчитаться с ним за *наглость*, перешедшую все границы»; «*Каждый сантиметр земли мы облили кровью зарвавшихся самураев*» («Бои у Хасана»). Эти средства также стали широко использоваться в войнах, последовавших за столкновениями на Дальнем Востоке. В рассмотренных текстах этого периода они используются также широко – было отмечено 32 случая словоупотребления.

Также идею слабой подготовки японцев отражает лексема *авантюра* и ее производные, дающие представление о враге как не способном рассчитать свои силы, но достаточно активного: «Почему японская военщина избрала для новой вооруженной *авантюры* район озера Хасан?»; «Эти подлые *авантюристы* напали на наши священные рубежи и заняли пядь нашей земли – Зазерную сопку» («Бои у Хасана»).

Неспособность противника вести прямые боевые действия, его хитрость, бесчестность отражают определения *коварный* и *подлый*, также часто встречающиеся в текстах: «Боевые действия против *подлого* и *коварного* противника» («Бои у Хасана»).

Как и в случае с другими врагами, активно эксплуатируется идея криминальной основы действий врага. Сам враг называется *бандитом*, *разбойником*, *налетчиком*, а его действия *налетом*: «Они пали смертью храбрых, защищая свою любимую родину от подлых *бандитов*»; «Японские *разбойники* нагло нарушили священные границы страны социализма»; «Кровь наших братьев не пройдет *налетчикам* даром»; «Не учили этого японские *налетчики*»; («Бои на Хасане»); Японским *бандитам* не усыпить нашей бдительности» («Правда» 7.08.38); «Японским *налетчикам* не быть на советской земле» («Правда» 4.08.38). Наиболее часто из этих лексем используются *налет*, *налетчик* и *бандит*. Это можно объяснить тем, что в основу лексем однокоренных со словом *налет* положен признак более динамичный, чем в основу слова разбой и однокоренных, значит, можно ожидать, что эта лексема обладает большей экспрессивностью, вызывает более активные чувства по отношению к врагу и в пропагандистском аспекте окажется более удачной. Что касается лексемы *бандит*, то здесь можно предположить влияние уже сложившейся к тому времени традицией именования бандитом любого врага – и внутреннего, и внешнего, значит, столкнувшись с хорошо знакомой лексемой и стоящим за ним образом, адресат более живо и эмоционально воспримет именно такой способ характеристики, чем использованный в тексте впервые.

Опору на сложившуюся к этому моменту традицию мы видим и в связи японцев с *германцами* и *фашистами*. Следует заметить, что к этому времени в советских пропагандистских текстах лексема *фашист* становится практически функциональным аналогом лексемы *немец* (естественно, речь идет прежде всего о немцах-врагах). Уже к концу 1930-х гг. фашизм воспринимался как нечто опасное, страшное, и во вре-

мя пограничных конфликтов с Японией естественно возникало желание связать врага с этим одиозным движением: «Они заявили, что в ответ на наглую провокацию японского фашизма комсомольские ряды будут пополнены десятками и сотнями лучших красноармейцев» («Бои у Хасана»); «Кровавые фашистские бандиты готовят войну против СССР» («Правда» 12.08.38).

Учитывая сближение внешнеполитических интересов Германии и Японии и подписание в 1936 г. антикоминтерновского пакта, можно заметить, что некоторые основания для такой связи были, но т.к. Япония не была фашистской, а германские войска в боях у Хасана не участвовали, целеустановку обозначения такой связи можно расценивать как сугубо пропагандистскую.

В текстах прослеживается тенденция к снижению образа врага, выражается это в чрезвычайно широком использовании бранной лексики по отношению к противнику, в частности, употреблении лексем *гад*, *своловочь*, *гнусный*, не выражают практически никакой идеи, кроме эмоционального негативного отношения к врагу: «Клянусь перед родиной, перед партией, перед правительством, что за своих товарищей отомщу и буду беспощадно уничтожать фашистских *гадов*»; «Нет места ни одному *гаду* на нашей священной земле!»; «Бей самурайскую *своловочь*!» («Бои у Хасана»). Вообще же отдельно следует отметить высокую эмоциональность текстов, создающих образ японца. Так, на 20 случаев употребления конструкции *японская военщина* встречается 10 случаев употребления лексем *своловочь* и *гад*, 26 случаев употребления лексем *наглый* и *зарвавшийся* однокоренных с ними. Все эти лексемы явно обладают негативным экспрессивным фоном, причем лексемы *гад* и *своловочь* имеют достаточно большой удельный вес. Встречаются, хотя и редко, также лексемы *погань падаль*, *нечисть* по отношению к японцам: «Стальной кулак Красной Армии развеет в прах эту падаль»; «Товарищ Черевик замечательно, работавший у пулемета, уничтожившего немало самурайской погань...»; «Я уверен, что с доблестью выполним эту задачу, и наша родная земля будет вновь свободна от всякой *нечисти*» («Бои у Хасана»). Это можно объяснить необходимостью мобилизации армии и населения в борьбе с достаточно сильной японской Квантунской армией, при этом, следует заметить, что сниженная лексика гораздо чаще встречается не в публикациях центральных газет, а в пропагандистских сборниках. Очевидно, центральная печать все же стремится сохранить видимость объективности, а пропагандистские сборники, основной целью которых является идеологическая мобилизация населения, могут позволить себе более эмоциональные способы описания врага.

На снижение образа врага работает и использование многочисленных зоологических образов, сравнивающих противника с различными животными, вызывающими негативные ассоциации. Враг может называться неким обобщенным способом при помощи слов типа

хищник, гадина, зверь и однокоренными с ними лексемами: «Пусть помнят фашистские хищники, что им несдобровать» («Правда» 7.08.38); «Я собственными руками уничтожил нескольких озверелых самураев» («Бои у Хасана»). Лексемы *озверелый* и *хищник*, кроме простого снижения образа, еще и характеризуют врага как опасного и агрессивного.

Японская армия в текстах повторяет организацию групп, в которые формируются животные: «Пусть знает вея эта самурайская свора, все эти презренные лакеи фашизма, что никогда им не смыть крови наших павших героев»; «Сунулись бандитов *стая*» («Бои у Хасана»).

Широко используются метафоры, сравнивающие японцев с конкретными животными: «Выбить японцев с нашей советской земли и проучить их так, чтобы они никогда не забыли этот урок и никогда больше не пытались совать свое *свиное* рыло в наш советский огород (Как было сказано выше, эта конструкция является трансформацией авторитетного прецедентного текста, автором которого является Сталин)»; «Пусть знают бешеные *шакалы*, что никогда не ходить им по нашей священной земле»; «Обязуюсь в самый короткий срок самостоятельно отремонтировать танк, овладеть им и пойти в бой против японских *собак*»; «Гранаты наши полетели прямо в окопы к японцам. Те, как мыши, забегали по высоте, засуетились»; «Ошеломленные неожиданным нападком, японцы растерялись. Побросав винтовки, они, как *крысы*, забегали по подземным ходам» («Бои у Хасана»). Несмотря на то, что, в основном, сравнения с конкретными животными не являются постоянными, само употребление подобных метафор показывает стремление к снижению образа врага, а сравнение японца с животным является систематическим и достаточно частым (на 10 случаев употребления лексем *своловочь* и *гад* встречается 11 сравнений японцев с животными), что свидетельствует о крайне эмоциональном восприятии врага.

Снова встречается идея интеллектуальной несостоенности врага, при этом и здесь авторы прибегают к довольно эмоциональным характеристикам – вплоть до именования врага *сумасшедшими*: Обнагели самураи, *потеряли разум*, Чести мы не потеряем – разобьем их разом; «Провокация войны со стороны неспокойного и далеко *не умного* соседа»; «Японская военщина, ущемив свой хвост в Китае, решила, как вообще полагается *сумасшедшими*, ущемить и голову» («Бои у Хасана»).

Встречается в текстах и упоминание конкретных военных и политических деятелей Японии: «Не хитрите, *сигэмицы* (Сигэмицу Мамору – посол Японии в Советском Союзе). Мелко плаваете вы», «Если ж надо, *Коккинаки* (Коккинаки К. К. – советский летчик-истребитель, сбивший во время боев с японцами семь вражеских самолетов) *долетит до Нагасаки* И покажет он *Араки* (Араки Садао – военный министр Японии) где и как зимуют раки» («Бои у Хасана»).

В отличие от конфликтов с Польшей и Финляндией, во время которых в советской печати были представлены «хорошие» и «плохие» финны и поляки, в период столкновений у Хасана образ японца не «раздваивается» подоб-

ным образом.

Таким образом, в период локальных конфликтов конца 1930-х гг. создается достаточно четкий и подробный образ японца, включающий в себя следующие черты: 1) основным средством обозначения японца становится лексема **самурай**, актуализирующая сразу три негативно воспринимаемых аспекта образа врага – принадлежность к другой национальности, принадлежность к чуждому классу и природную агрессивность противника; 2) подчеркивается агрессивная сущность врага, очень часто по отношению к нему применяется характеристика **военщина**, а также **агрессор**, **захватчик**, **империалист**; 3) авторы указывают на несправедливость претензий японцев и слабую их подготовленность к боевым действиям, для этого используются лексемы типа **наглый** и **зарвавшийся**; 4) эту же идею – несправедливость претензий врага, а также его агрессивность реализует лексика криминальной сферы – **бандит**, **налетчик** и т.п.; 5) неготовность и слабость врага отражена также в лексеме **авантюра**, характеризующей деятельность противника, и однокоренных с ней; 6) проводится однозначная связь японцев с фашистским движением, причем также довольно настойчиво; 7) прослеживается тенденция к снижению образа врага – для его характеристики используется сниженная лексика – **сволочь**, **гад** и т.п., а также образы различных животных; 8) авторы текстов указывают на интеллектуальную несостоятельность противника, используя определения **неумный**, **безумный**, **сумасшедший** и т.п.

Итак, можно заметить, что по сравнению с периодом иностранной военной интервенции 1918-1922 гг. образ японца стал более подробным и четким, но более сниженным. Вместе с тем, из него исчезла раздвоенность по социальному признаку, ведущими его чертами остаются агрессивность и слабость, но теперь они разработаны более подробно. Идея несамостоятельности действий Японии выражается в ее связи с фашистским движением.

3. Образ японца в текстах периода Квантунской операции. После окончания войны с Германией Советский Союз по договоренности с союзниками открыл военные действия против Японии, денонсировав советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный в 1941 г. 9 августа 1945 г. советские войска перешли советско-маньчжурскую границу и двинулись на юг – к пограничной реке Амноккан (Ялуцзян), разделяющей территории Маньчжоу-Го и Кореи. Инициатива начала очередной войны с Японией принадлежала Советскому Союзу, поэтому и здесь потребовались значительные усилия советской пропаганды для объяснения смысла нападения на японскую Квантунскую армию. Несмотря на относительную кратковременность боевых действий, советская пропаганда уделила достаточно большое внимание очередному конфликту.

В качестве материала для данной главы ис-

пользовались публикации газеты «Правда» за август-сентябрь 1945 г. и тексты некоторых плакатов.

Снова ведущим элементом образа японца становится агрессивность. Представляя противника агрессивным, советская пропаганда обосновывала право Советского Союза напасть на Японию, поскольку от такого соседа можно ожидать любого шага, направленного против СССР, а это значит, что единственным логичным способом взаимодействия с ним является превентивный удар. Япония и японцы называются **агрессорами**, **захватчиками**, **поджигателями войны** (причем конструкция **поджигатель войны** становится аналогом активно использовавшейся ранее лексемы **провокатор** – таким образом, на противника перекладывалась моральная ответственность за начало войны), используются однокоренные с этими лексемами, характеризующие действия японцев: «Японский **агрессор** будет разгромлен» (с плаката); «Мы не забудем ни одного **агрессивного** шага Японии предпринятого против нашей страны» («Правда» 10.08.45); «Бейте японских **захватчиков** по-гвардейски!» (с плаката); «Пора покончить с японскими **поджигателями войны**» («Правда» 10.08.45).

Цели морального оправдания начала военных действий служит также определение японцев и их действий как вероломных – таким образом, утверждается, что от Японии в любой момент можно ожидать агрессивного шага, значит логично будет ударить первыми: «Через тридцать семь лет после этого (имеется в виду атака японской эскадры адмирала Того на Порт-Артур в 1904 г.), Япония в точности повторила этот **вероломный** прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда она в конце сорок первого года напала на военно-морскую базу США в Перл-Харборе» («Правда» 3.09.45). При этом указание на вероломность действий японцев как на традицию подчеркивает их «органическую» бесчестность и дает дополнительные основания для нападения на нее – даже если в текущий момент Япония не предпринимает никаких агрессивных шагов, ее поведение в прошлом показывает, что она может действовать совершенно неожиданно. К тому же таким образом можно подключить пафос отмщения и воздаяния Японии за прежнее вероломство.

Как и в прежние периоды, авторы указывают на империалистическую и криминальную природу действий японцев. При этом разнообразие лексики, относящейся к криминальной сфере, сужается до слова **разбой** и однокоренных с ним: «Крахнули надежды японских **империалистов** затянуть войну» («Правда» 25.08.45); «В этой **разбойничьей** повадке оказались обычные методы японского **империализма**» («Правда» 9.08.45); «Навсегда отучим японцев от **разбоя**» («Правда» 12.08.45).

Зато в этот период активно используется конструкция **разбойничий империализм**, синтезирующая идеи агрессивности внешней политики врага и криминальной ее сущности, такое сочетание должно усиливать пропагандистский эффект, поскольку объединяет два негативно воспринимаемых признака: «Японский **разбойничий империализм** – лютый враг советского народа»

(«Правда» 13.08.45).

Используются разработанные в конце 1930-х гг. способы характеристики врага, такие как именования его военщины, указания на его связь с Германией и фашизмом. Применение таких способов, знакомых адресату, объясняется желанием использовать достижения и опыт пропаганды предшествующих времен: «*Надо раз и навсегда покончить с японской военщиной*» («Правда» 9.08.45); «*Разгром японской фашистской военщины – великая победа свободолюбивых народов*»; «*Япония – это государство фашизированных империалистов*» («Правда» 25.08.45); «*Японский агрессор полностью разделит участь разгромленной и поставленной на колени гитлеровской Германии*» («Правда» 10.08.45).

С этой же целью используется лексема самураи, характеризующая японцев, удачно найденная советской пропагандой в конце 1930-х гг.: «*Все горят одним желанием – получить и выполнить новое боевое задание – нанести самураям еще более сокрушительный удар*» («Правда» 10.08.45); «*Сейчас, обрушивая свои удары на головы японских самураев, тихоокеанцы показывают, что их труды не пропали даром*» («Правда» 12.08.45).

Активно используются зоологические образы: «*Красная Армия и войска союзников сделали великое дело, поставив на колени японского хищника*»; «*Бурят-монгольский народ знает звериную повадку японского агрессора*» («Правда» 24.08.45). Вообще следует отметить, что советская пропаганда в этот период гораздо менее эмоционально характеризует японцев, чем в период боев у Хасана – теперь она не позволяет себе называть их своловочью, гадами или крысами.

Снова встречается мысль о противопоставленности японского народа японским же властям: «*Японские правящие круги не считаются с интересами японского народа*» («Правда» 9.08.45), но, как и раньше, мы не видим здесь указаний на активную позицию японского народа или освободительного пафоса по отношению к японцам. Так что и теперь образ японца выглядит достаточно цельно, в отличие от образов финна или поляка.

Знакомая идея психической неполноценности врага в этот период эксплуатируется не столь активно, но все же присутствует в описательных метафорических конструкциях: «*Красная Армия наденет смируительную рубашку на злобную японскую военщину*» («Правда» 10.08.45) – в данном контексте указывается скорее не интеллектуальная несостоенность врага, а его активность, которую важно было подчеркнуть, учитывая то, что активной стороной в этот период на самом деле являлся Советский Союз.

Таким образом, мы видим, что в образе японца периода Квантунской операции августа 1945 г. сохраняются многие черты образа времен боев у Хасана 1938 г, но все же этот образ несколько видоизменяется. Такое изменение вызвано, в первую очередь, стремлением оправдать превентивные меры по отношению к Японии со стороны Советского Союза: 1) снова подчеркивается агрессивная сущность врага, по

отношению к нему применяется характеристика военщина, а также агрессор, захватчик, империалист, поджигатель войны; 2) исчезают указания на неподготовленность противника к войне, т.к. в этот период важно подчеркнуть агрессивные устремления японцев при отсутствии в реальности военной активности с их стороны – ведущей установкой становится мысль о том, что, хотя Япония не воюет с Советским Союзом, но готова к такой войне и может начать ее в любой момент; 3) при помощи определения вероломный по отношению к японцу проводится та же мысль – враг в любой момент может начать боевые действия, значит нужно опередить его; 4) криминальная сущность действий врага выражается в лексеме разбойник и однокоренных с ней; 5) проводится однозначная связь японцев с фашистским движением и Германией, которые к тому времени должны были восприниматься особенно негативно; 6) одним из средств обозначения японца становится лексема самурай, актуализирующая сразу три негативно воспринимаемых аспекта образа врага – принадлежность к другой национальности, принадлежность к чуждому классу и природную агрессивность противника и к тому же хорошо знакомая адресату. 7) резко снижается эмоциональность характеристик врага по сравнению с концом 1930-х гг.

Теперь мы можем проследить эволюцию образа японца в период 1918-1945 гг. Неизменной его чертой становится агрессивность врага-японца, воспринимаемая как органическая, неотъемлемая черта характера и криминальная сущность его действий. В конце 1930-х гг. появляется ранее не использовавшаяся лексема самурай. Образ японца 1945 г. сближается с образом 1918-1922 гг. по признаку разобщенности его по социальному признаку (однако эта разобщенность выражена не так явно, как, напр., в образах поляка и финна). Знакомая по образам других врагов идея безумия актуализируется достаточно четко только в период пограничных конфликтов конца 1930-х гг. По признаку неготовности к войне объединяются образы японца периода интервенции 1918-1922 гг. и конца 1930-х гг., тогда как в 1945 г. эта идея исчезает. Идея несправедливости претензий врага объединяет образы 1939 и 1918-1922 гг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бартминский, Е., Языковые стереотипы // Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М. 2005.

Бои у Хасана. Партийно-политическая работа в боевой обстановке. М. 1939. // <http://militera.lib.ru/h/hasan/>

Большая Советская Энциклопедия. М. 1935-1940

Лешан, Л., Психология войны. М. 2004.

Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М., 1935-1940

© Костылев Ю.С., 2007

Симон А.А.
Москва, Россия
«БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ –